Татьяна Брехова

СЛАДКИЙ ПОМЕРАНЕЦ

Новелла

Поздно вечером супруги Федоровы вышли из отеля «Азия», перешли мост через Хуанпу и заблудились. Тут они, конечно, слукавили, — как дети, легко принимающие условия новой игры, — и все же было немного жутко оказаться в трущобах, раньше неизвестных им из-за небоскребов, в тени которых могут затеряться целые кварталы. Шли они по тесной и грязной улочке Шанхая, сжатой ветхими домишками с балконами, рекламными щитами, растущими вверх своими неоновыми иероглифами-лесенками. Иероглифов было так много, что они заслоняли застиранное небо. И Екатерине казалось, что идут они по тротуару, мимо темных и жутких закоулков, прямо вверх, по лесенкам, к беззвездным небесам, и путь их будет продолжаться вечность. Весь мир в эти минуты сжался до пределов этой замусоленной и в то же время необъяснимо чарующей улицы, до тротуара, конца и края которому — так хотелось — не будет никогда. Вся жизнь уместилась в эти минуты: нет ни прошлого, ни будущего, есть только Шанхай и Федоровы.

Торговцы фруктами убирали улицу от мусора, лежавшего всюду воняющими грудами, складывали в грузовички лотки с бананами, апельсинами, яблоками, манго, персиками, личи; другие только начинали рабочий день, распахнув двери каких-то странных полуподвальных заведений, где в окнах, словно манекены, застыли красивые женщины, одетые во все красное. Двое какаду, сидя на жердочках возле парикмахерской, поклонились русским, и один из попугаев, держа в широкой лапе кусок яблока, манерно крикнул «ней хау!» Возле приторно пахнущих ресторанов два повара, Нюй-ва и Фу-си, громко перекликаясь друг с другом, лепили длинную лапшу, раскручивая ее над головами, словно это были зонты, а не узкие полоски теста. Нюй-ва с ее змеиным телом, худая и изящная, смеялась и бесконечно что-то лепетала Фу-си, и он, слегка смущенный и неуклюжий, весело отвечал ей. И было непонятно, любовники они или только муж и жена?

В больших аквариумах, поставленных на витрины ресторана, дремали акулы и мурены. В их отрешенности, в равнодушии к суете за стеклом было что-то от загадки Моби Дика, которому — пусть уже покоренному и несвободному — нет дела до человеческих амбиций, любопытства и жадности. А дальше, по соседству, в огромном террариуме спала большая мифическая черепаха Ао с тяжелым костяным клювом, из-за которого она напоминала шамкающую старушонку, рожденную во время оно.

Екатерина так загляделась на Ао, что совсем перестала смотреть под ноги и столкнулась с большой тележкой, до верха груженной апельсинами. Сергей схватил жену за руку и увел в сторону. А тележка качнулась, и — Федоровы в ожидании всей полноты счастья зажмурили глаза — вот-вот с нее посыпятся на землю апельсины, и весь тротуар станет ярко-оранжевым. Сейчас, сейчас... Кульминация вечера! Но когда глаза открылись, то Федоровы увидели всего один апельсин, катившийся навстречу. Тележка осталась стоять. Екатерина подняла апельсин и положила в карман.

1

А вот теперь, спустя три года, она идет домой и видит перед собой только кусок белой дороги и апельсины. Ей хочется плакать.

Она живет в большом городе, а сюда, в железнодорожный поселок, уже не первый год приезжает каждую неделю вести занятия в школе. Екатерина Матвеевна Федорова преподает русский язык и литературу, неплохо говорит по-немецки и по-французски.

В поселке учительницу из краевого центра сразу прозвали англичанкой, несмотря на то что она русская и не дает английского. По нелепой случайности вместо затребованного учителя прислали специалиста по русской филологии. Федорову решили оставить на какое-то время — жест вежливости — в надежде, что она сама скоро уедет, устав наматывать каждую неделю километры в душных вагонах. Однако Федорова оказалась, как говорили в поселке, настырной бабой: от своей полставки (щедрость завуча) не отказалась.

В ее внешности есть что-то от замерзшего воробья, вынужденного вечно топорщить перышки, чтобы согреться и как-нибудь перебиться до оттепели. Говорит она медленно, тщательно отмеряя слова, словно отсыпает в чужой карман драгоценные камушки — сыплет по крупице и жалеет о сказанном. Потом молчит, тихо улыбаясь чему-то, кивая не собеседникам, а себе самой.

От Федоровой сначала ждали каких-то происшествий, о которых можно потолковать и в связи с которыми потребовать развязки. Или просто чего-то, что можно облечь в слова. Но она не опаздывает на занятия, не болеет, не курит, не ругается с начальством, не состоит в партии, не участвует в общественных мероприятиях, не посещает «Харбин» и местную церквушку, и вообще с ней никогда и ничего особенного не случается. Даже в магазине она покупает одно и то же: хлеб, масло, молоко, вермишель и сосиски.

Сейчас она возвращается из продуктового магазина, который на пересечении двух основных улиц вместе с ресторанчиком «Харбин» открыл предприниматель, приехавший также из краевого центра. В темное время суток это место, вскоре ставшее самым оживленным и людным, освещает единственный во всей округе фонарик. Здесь, словно на вокзале, всегда чего-то ждут, но чего именно, не знает никто. Наверное, каких-то событий, происшествий, даже пустяка, детали, любого глагола, которым хочется порой приправить ужин или молчание у телевизора, но получается скупо, без эмоций, без верного тона.

И вот недавно, кажется, случилось. Правда, глупо, мелко и, главное, без продолжения. Кто-то, не поскупившись на баллончик с черной краской, расписал цоколь магазина кривыми буквами, смысл которых удивил многих: «СВИНЬИ, АПЕЛЬСИНОВ НЕТУ!» Ждали реакции предпринимателя, но ее, к общему неодобрению и даже обиде, почему-то не последовало, и странная злобная надпись забылась — она приелась, стерлась в глазах, как и все вокруг.

Слово свинья нравится Федоровой, предпочитающей все сложное и до конца не объясненное. *Свинья* по-английски *pig* или *hog*, по-немецки *schwein*, по-французски cochon. Об этимологии его известно мало, но в некоторых языках ясно читается общий корень. Вальтер Скотт в романе «Айвенго» указывает на англосаксонское происхождение слова *свинья (swine)*.

Но когда и где появилось красивое слово *апельсин*? Екатерина Матвеевна никогда раньше над этим не задумывалась. Стало досадно и как-то не по себе. Любая сфера знаний представляется ей в виде бездонного, наполненного водой колодца: глянешь в него, ухнешь и ужаснешься — так долго идет эхо! Голова кружится, и чувствуешь себя беспомощным ничтожеством.

Федорова очнулась неожиданно. Она стояла на высокой лесенке магазина перед самой дверью. Снизу вверх на нее смотрели несколько мальчишек, смеялись ей в лицо и кричали:

— Эй, ты че застряла? Телка позорная!

Федорова спокойно вошла в магазин, купила хлеба и узнала у продавца фамилии тех, кто околачивается на «пятачке». Одна показалась знакомой. Как у всякого педагога, у Екатерины Матвеевны хорошая память на имена и на лица, а главное — профессиональная способность не впадать в истерику при столкновении с детской грубостью. Федорова вышла из магазина и сказала, выталкивая изо рта клубы пара:

— А ведь, Иванников, я когда-то учила тебя.

— Стремная ты была училка!

— А грубость твою я еще припомню.

— Ну, ну! Че ты сделаешь!

— Увидишь.

Смех долго катился по дороге, словно мелкая и сыпучая поземка. Федорова идет домой и видит перед собой только кусок белой дороги и апельсины.

2

Недавно кто-то разбил окно. Зима на всю комнату снегом дышит, а Сергей еще не успел приехать и вставить новую стеклину. Пришлось Федоровой кое-как повесить одеяло и делать вид, что совсем не тянет. На полу стоят банки с водой, которую надо отстаивать, прежде чем кипятить. Диван похож на разорванную книгу, распадающуюся на две части, обои выцвели и расписаны желтыми потеками. Их залепили наспех репродукциями из советских пожелтевших «Огоньков»: Ренуаром, Леонардо, Петровым-Водкиным и Ван Гогом. Телевизора долгое время не было, потом купили с рук старенькую «Юность», но включали редко. Постороннего шума хватает всегда: из туалета несется заунывное пение унитазного бачка, из-за стенки — причитания пожилой женщины, сын который, судя по всему, много пьет и распускает кулаки. С похмелья он особенно зол, а потом начинает ныть, как мать, плакать навзрыд и горько жаловаться на свои беды.

Жаль, что в ближайшие дни Сергей не может приехать. Он шофер и работает вахтовым методом. Сейчас находится далеко-далеко, где-то под Магаданом. В такие дни, если Екатерина Матвеевна оказывается в поселке, она старается сидеть за столом на кухне, где и теплее, и тише. Обычно готовится к урокам или читает.

Она несет хлеб на кухню и думает о языке, на котором ей нагрубил сегодня тот мальчик у магазина. Неужели речь офеней, или афеней, коробейников, ходебщиков, щепетильников, как их еще называли, имеет нечто общее с жаргоном, с блатной феней, уродующей язык многих ее современников? Так утверждают некоторые исследователи. Она режет хлеб, вдыхает его аромат. Наверное, одежда офеней пахла свежей корочкой или мякишем, или солодом, или дрожжами. Еще от них слегка пахло рыбьим клеем, сыром и колбасой. Офени занимались мелкой торговлей вразнос и, конечно, старались по возможности обмишурить своих покупателей. Ходили они по малым городам, селам и деревням, сбывая ткани, иглы, кольца и сережки.

Когда же это было? До крещения Руси? В летописях нет ничего о мифическом офенском народце. Они исчезли давным-давно, но оставили язык, смешной, неуклюжий, грубоватый, чужакам непонятный, своим — знаковый, предупреждающий, удобный в торговле, в беседе между собой. Они называли себя *масыгами*, что значило *свои, наши, мы* и, конечно, гордились своей обособленностью. Мать они называли *масьей*, дитя — *пащенком*, деньги — *юсами*, весну — *дряботницей*. Офенский язык заимствовали спустя века некоторые раскольники, считавшие, что офенский — значит крещенный, то есть православный, всякий добрый человек, мыслящий иначе, не как большинство. А затем так говорить стали в больших городах нищие, воры, мазурики, конокрады, иногда — татары и цыгане. Их преследовал закон, их ссылали в Сибирь, на Дальний Восток.

Язык офеней, не похожий на прежний, еще более грубый, откровенно вульгарный, ругливый, всегда с нами, как будто все мы одеты в ту самую робу, в которой когда-то высылались сюда первые этапы каторжан. Екатерине вспоминаются слова одного

режиссера, снявшего для своего фильма сцену изнасилования зэками политзаключенного: это случилось прямо в тесной кабинке автозака. Крупным планом показана морда одного из воров — щербатая, уродливая, лоснящаяся, довольная. Морда советского офеня. «Все мы изнасилованы этим временем», — сказал режиссер, когда его упрекнули в жестоком натурализме. Все мы похожи чем-то на тех офеней.

И сегодня, того не зная, говорим на офенском, на котором этим вечером обругал у магазина нерасторопную Федорову злой Иванников.

«Эх, — сказал бы сейчас Сергей, стукнув себя по брючному карману в поисках спичек, — давай я откручу им уши, и ты успокоишься». «Я не смогу забыть, — ответила бы ему жена. — Я не прощаю таких словечек никому — ни чужому Иванникову, ни коллегам, часто мало разборчивым в выборе лексики, ни детям». «Будь добрее», — это последнее, что сказал бы ее муж.

«Хорошо, — отвечала ему Екатерина Матвеевна мысленно, все больше распаляясь воображаемым спокойствием курящего мужа, — я сделаю вид, что ничего не слышу. Не попрекну ни разу человека, не понимающего, *что* он говорит. И стану любить каждого, какой он есть, и находить в нем самое чистое. Умиляться им. И еще я могу жалеть. Да, жалею каждого. За его судьбу, которой он не желал в детстве. За убогость и однообразие существования на пятачке с одним перекрестком. За ненависть ко всему, что не похоже на них. Я всех жалею и всех люблю. И этими добрыми, христианскими чувствами я окончательно погублю то лучшее, что в них осталось. Я полью их теплой водичкой, и пусть разъедает коррозия их язык, их нравы, их души... Но ты же знаешь, я не хочу этого. И буду поступать, как прежде».

Ей не в первый раз вспоминаются слова из романа «Кентавр» американского писателя Джона Апдайка, едкие и полные пессимизма слова, звучащие, как страшная клятва: *Я — платный надзиратель за общественными отбросами, за слабыми, хромыми, ненормальными и умственно отсталыми. И я могу дать тебе один-единственный совет: пока не поздно, возьмись за ум и выучись чему-нибудь, иначе будешь таким же ничтожеством, как я, и придется тебе идти в учителя, чтобы заработать на жизнь.* Когда Сергей прочитал эту книгу, он сказал: «Ну что же ты мучаешься, Катя, кентавриха ты моя упрямая? Сколько раз я говорил тебе: бросай школу, живи со мной в городе, заканчивай свою диссертацию и иди работать в университет. Ты же знаешь, декан к тебе хорошо относится».

Фигура мужа вместе с запахом сигаретного дыма тает в воздухе. Екатерина Матвеевна берет с трюмо худенький справочник телефонных номеров, который имеется на руках у каждого школьного учителя в поселке. Фамилия Иванниковых в столбце на «И» одна. Ни одного Иванова!

— Здравствуйте, это семья Иванниковых?.. Вы его мама?..— Когда Федорова говорит по телефону, голос ее всегда строгий и как будто натруженный. — Это хорошо. Завтра я пойду в отделение милиции жаловаться на вашего сына.

На том конце провода запричитали сквозь слезы:

— Умоляю, не ходите. Мой сын исправится. Он уже осужден условно. И если заметят где-нибудь, то могут посадить. Посадют — и я одна останусь. Хотите, миленькая, — ну, простите! — я побью его? Он хам, но хороший мальчишка...

Реакция на эти слова неожиданна для Екатерины Матвеевны: она рассчитывала лишь на равнодушие к ее слабому пассажу.

— Завтра в одиннадцать утра я жду его в пятом кабинете, в школе. И заодно — всю ту компанию, которая была с ним сегодня вечером.

— Только не думайте, что он плохой!..

После этого разговора Федоровой стало гадко. Она готова к этому состоянию. Хочется думать о чем угодно — лучше об апельсинах, — только отогнать от себя предчувствие гадливости к себе самой. Я платный надзиратель... Впервые такое

ощущение она испытала, когда еще студенткой проходила учебно-методическую практику в сельской школе.

3

Зимнее утро. Темень. Федорова, едва проснувшись и не выпив чаю, идет в школу к восьми часам, семеня по накатанной машинами дороге.

Недавно они поссорились. Эта неприятность случилась после того, как Федорова дала мужу почитать роман «Нексус» Миллера, который вызвал у нее самой странный, давнозабытый зуд, похожий на писательский. Или, как она говорит, «графописский». Технология творчества, писательского всезнайства и на вид легкого, приятельского отношения со словом — вся кухня, показанная героем Миллера — так воодушевила Федорову, что она на какое-то время заболела. Недуг выражался в том, что Екатерина Матвеевна напрочь забыла о любимых ею словарях, ела меньше прежнего, почти не разговаривала с мужем и коллегами по работе, а главное — перестала читать вообще. Чуткая к ритмике фразы, всегда интуитивно знающая, где и когда автор оторвался от работы и, скажем, пошел пообедать или засомневался в написанном и откинулся на спинку стула, Федорова так вживается в автора, что после прочтения ощущает себя опустошенной и брошенной. Словно ушел любимый мужчина и его надо вернуть любыми способами.

Она не может переключаться на другую литературу, пока усвоенный роман не превращается в четкий, хорошо структурированный черновик для какой-нибудь научной работы. Хотя бы мысленно! Для этого потом разыскивает другие книги, выписывает иноязычные издания, читает монографии и т.д. Так было в отношениях с некоторыми отечественными классиками и зарубежными литературными корифеями, в том числе с очень разными по стилю Миллером, Рильке, Кундерой, а также с Набоковым. Последним она болела долго, несколько сезонов, серьезно утверждая, что после романов «Защита Лужина», «Подвиг» и «Король, дама, валет» в русской литературе современным писателям делать больше нечего. Во всяком случае, в плане формы. Но это отдельная история.

Если Набоков в глазах Федоровой стал знаком творческого тупика, то Миллер....

Что касается Миллера, то он оказался виноват в своей обманчивой легкости. Манера письма американского скандалиста, хотя и сильно изменившаяся после первого романа «Тропик рака» всегда вызывала у Екатерины Матвеевны желание повторить подвиг публичного обнажения — написать автобиографический роман. Ведь это очень просто! Единственная сложность — условие полной откровенности. Книги Миллера исповедальны и бесстыдны. И это правильно, твердит Федорова, только вот страшно писать так... Под стыдом она понимает не интимную сторону жизни человека, а нежелание скрывать творческие или любые другие поиски, которые через заблуждения и лишения воспитывают в писателе личность и профессионала. Диалектика характера — вот что кажется ей самым любопытным в мировой литературе.

Пока Екатерина Матвеевна бегала по магазинам в поисках остальных книг трилогии «Благостное распятие», Сергей тоже прочитал «Нексус». «Подумаешь, Миллер!» — сказал он после ужина. Сергей знал, что разговор нельзя начинать во время еды. А теперь решил высказаться. Собирался в дальнюю командировку и укладывал чемодан.

— Катечка, не обижайся, я знаю, что Миллер — хороший парень. Я и сам с удовольствием читал «Тропик рака». Помнишь...

Этот роман олицетворял ее собственный сексуальный либерализм, наличие которого, догадывалась она, даже не подозревал в ней муж. Передавая ему «Тропик рака», она хотела сказать, что все не так, как кажется. Интеллектуальный эротизм, размышляла

Федорова, это вещь, доступная уму не каждого человека. Но говорить об этом вслух не решалась, предугадывая реакцию Сергея.

— Он сам виноват, — меж тем продолжал Сергей. — Миллер признался, что, будучи начинающим писателем, таскал понравившиеся ему фразы из любимых книг и прятал их по углам, то есть по записным книжкам...

— Я не для того... — Екатерина Матвеевна пристально посмотрела в зеркало трюмо. — ...давала тебе этот роман.

— Погоди, — успокаивал ее муж. — Что такое интеллект писателя? Неужели это случайное собрание знаний, которое надо обязательно впихнуть в одну книжку? Любование Миллера умными словечками, желание удивить, заставить всех почувствовать себя болванами... Зачем все это? Пусть я неуч и не знаю, что такое «имманентность», но неужели Миллеру станет от этого легче?

— Хорошо, Миллер хочет сказать, что он самый умный. Но почему это тебя волнует?

Сергей молчал.

— Не хочешь признаться?

— Катя, Катя, — Сергей говорил теперь нараспев в попытке снять назревавшее напряжение.

— Я не хочу, чтобы ты была такая...

— Какая?

— Твой снобизм иногда пугает. Не будь такой чужой.

Федорова ничего не ответила и ушла на кухню. Конечно, Сергей по-своему прав. Он много читает и хорошо помнит прочитанное, но в его мозгах, по словам жены, всегда была каша — застывшая, без масла и без мяса. Ей пресно спорить с Сергеем и в то же время (если честно!) ни с кем, как с ним, ей не хочется говорить много и свободно о чем угодно. Странно, но он, технарь без высшего образования (хотя жадный до любого знания), — самый комфортный и приятный собеседник. Федоровы не просто обмениваются фразами, а создают в своих диалогах нечто, существующее теперь вместе с ними, как опавшие листья у подножия деревьев.

Но иногда после подобных споров они могут подолгу не разговаривать друг с другом. Сергей становится чужим и далеким, перестает готовить ужин, не приезжает в село, старается на какое-то время уехать на заработки. Она мстит тем же: мчится в село, остается там безвыездно, почему-то стесняясь показываться на улицах в те дни, когда у нее по расписанию нет занятий (пусть думают, что уехала в город к мужу!). Потом начинает рыдать. Слезы — единственное ее спасение и оружие. Никакое слово тут не помогает. Она отказывается говорить прямо. Чуждается нежности. Никогда не просит прощения, если не проходит достаточно времени — она «выдерживает» его до срока, до противного брожения в мозгах, до момента, когда лучшее средство для сближения — это слезы, а не речь. Причем обряд примирения всегда начинает Сергей. Он звонит и говорит какую-нибудь нелепицу: «Представляешь, в Африке нашли скелет древнего человека, который оказался очередным звеном в цепи эволюции... Слушай, я завтра приеду, денег привезу. Чего тебе купить? Ничего не надо? Как не надо? Ты болеешь? Нет? А почему не надо?.. Ну не плачь».

После разговора о Миллере, точнее, намеков Сергея на отчужденность жены, навалилась большая, чем обычно, тяжесть. И стыд — стыд, в котором Екатерине Матвеевне не хочется признаваться. Она молчит и чувствует, как под ногами шуршат раскиданные ими листья: их слова, высказанные и затаенные, добрые и злые.

Спеша в школу, Екатерина Матвеевна видит спину мужа, собирающего чемодан. Он не взял второй теплый свитер, забыл на батарее носки — и сделал это специально, чтобы показать невнимание к заботам жены, постиравшей, в кои веки, его вещи. Не положил в чемодан другой роман Генри Миллера с пометками, сделанными для него... Его спина, печальная, скорбная. Муж собирался, а она сидела на кухне и, еще не зная,

стоит ли просить прощения, думала, что *печаль, печа* исконно означает «заботу» и произошло от слова *пека* — «жар», «зной». Значит, *печаль* — то, что горит, жжет, заботит, и почти то же самое, что печка. У нее так и не получилось стать для Сергея горячей печкой, рядом с которой всегда уютно. Она или не греет, или жжет до боли. А теперь горело у нее. Душа — *печа*. Хотелось говорить с ним. Уже не спорить, а просто повторять по любому поводу его имя: «Сергей, Сергей». Когда Федоровы только поженились, Екатерина мысленно так и делала, словно в чередующихся мягких и твердых звуках имени мужа (особенно в дрожащем *Р* и смычном *Г*) заключено магическое заклинание. Еще оно казалось ей похожим на ежа, — может, потому, что, произнося *Се-ре-жа*, она мысленно выделяла последние звуки и пропускала между пальцев нежесткие, безобидные колючки. Такой и был характер у мужа — только с виду не-при-вет-лив (кажется, в этом слове есть корень от *втити*, что значит «говорить»), а так — добрый и терпеливый до бесконечности. Сергей, Сергей...

В школе, как и дома, неуютно от гуляющего сквозняка — и в кабинетах, и в коридорах лучше не снимать шубу. Но Федорова не может позволить себе этого. Она поднимается на второй этаж, в кабинет завуча (та вчера просила зайти, а она забыла) и вспоминает свой сон. Он всплывает в памяти, когда она расстегивает пуговицы на шубе. Ей снился Наполеон, только что открывший ворота Москвы. Он шел сквозь анфилады комнат и никак не мог достичь какой-то цели. Это был абсолютно растерянный и оттого злой человек. Он шел ей навстречу быстрой и решительной походкой, звеня саблей и шпорами. Эхо, металлическое и грозное, разносилось по залам какого-то огромного дворца, абсолютно пустого, покинутого хозяевами и челядью. В нем было душно и пахло гарью. Казалось, даже залысина Наполеона стала мокрой, а от подклада треугольной шляпы с большим плюмажем несло потом и сырой дубленой кожей. И чем дольше он шагал, тем дальше казался от цели. Он злился — и как! Федорова впервые почувствовала на себе мужскую ярость... Его свита, растерянное командование французской армии, едва поспевала следом. Наполеон двигался быстро, на ходу расстегивая двубортный сюртук и развязывая на шее бант. И вот... лосиные штаны, грязные, воняющие дымом. Наполеон целовал ее в затылок и грубо мял руками, словно она была породистой лошадью. Свита бурно восторгалась сценой, аплодируя и комментируя происходящее по-французски. Федорова заплакала и проснулась.

Сзади нее по лестнице поднимаются ученицы из десятого класса и, давясь смехом, о чем-то шепчутся. «И что я сделала плохого?» — с тоской думает Федорова. Она оглядывается назад и смотрит в глаза девочки. Ее фамилия Лапушкина. Она глядит на нее нараспашку, как почти все дети. Глаза у нее светло-голубые, теплые.

— Екатерина Матвеевна, у вас платок по полу тащится. Возьмите. — Девочка вытягивает из рукава федоровской шубы платок, большой зеленый, самый любимый. Надо же, почти выпал из рукава и подметает лестницу. Федорова хотела носить его на голове, красиво и гордо, а получилось смешно...

В тесной и узкой учительской за единственным столом сидит только завуч. Увидев входящую Федорову, Алевтина Николаевна растягивает губы.

— У меня сейчас нет урока, — оправдывается Федорова.— Я тут посижу с журналами. Скоро конец четверти.

Алевтина внимательно смотрит на нее снизу вверх. «Будто знает, что мне приснился Наполеон», — Федорова представляет удивление завуча. Она вешает шубу и думает об Иванникове. Что бы ему сказать? Впервые нет слов. Ни одного самоцветика, ни одной бирюльки.

— Вы сами эту кофточку сшили?

— Какую?

— Ну, эту. На вас.

— Нет, в магазине купила.

— А-а, я думала сами сшили. Я так плохо спала всю ночь. Отекла немного. Кстати, Екатерина, есть у меня разговор к вам. Давно хотела поговорить, да как-то откладывала все. Потом журнал посмотрите... Закройте... Какая вы вся тоненькая, ладненькая, прелесть просто. Глаза не подкрашиваете? Надо же! А кажется, тушь. Вы семью Зарубиных знаете? Только слышали?.. И даже об отце?.. Господи, с какой вы планеты! А я их давно знаю — их дочка вместе с моей в детский сад ходила. А теперь взрослая стала совсем. Хорошая девка: выучилась в институте, замуж удачно выскочила и — надо же! — из города к нам возвращается. У нее муж прокурор. Новое назначение. Так вот, я с вами как с серьезным и понимающим человеком хочу поговорить. Открыто, без утайки. Чтобы без обид. Хорошо? Катечка, у вас тут полставки, от классного руководства вы отказались. Но не в этом дело. Учителей-словесников в школе хватает. Все часы и классы нарасхват. Вы из города. Мотаетесь каждую неделю. Зачем вам это надо? Всю зарплату нашу нищенскую тратите на поездки. Я слышала, у вас муж хорошо зарабатывает — вахтовым методом. Наши мужики никчемные, бабы все на себе тащут. Ваш — молодец. Кормилец. Езжайте в город. Там тоже учителя в дефиците. Я по-хорошему прошу. Как женщина с женщиной... Зарубина молодая. Ей бы перекантоваться года три. А там мужа переведут в край. Дома сидеть не хочет — в деревне ведь с тоски помереть можно. Договорились? До конца четверти доработаете и напишете заявление. Как раз к новому году.

Федоровой кажется, что она никогда не знала эту опухшую, шумно дышащую и скучающую женщину и теперь видит ее с лучшей стороны — рассудительную, деликатную, умную и чуткую. Слова произносит почти правильно. А главное, она сделала то, что позволит Федоровой не принимать самостоятельного решения. Федорову захлестывает волна симпатии. Не в силах отвести от Алевтины глаз, она старается успокоиться, чтобы ее поведение не выглядело странным. Сергей будет рад.

Кончается первый урок. В учительской уже шумно и тесно. Рассказывают анекдот, который для завуча повторяют специально. Алевтина Николаевна не улыбается, но внимательно, снизу вверх рассматривает каждого в отдельности.

— Мой Мотя умер, — тихо говорит она.

Все застывают.

— Как?

— Вчера вечером муженек зарезал.

— А-а!

— Приходите сегодня на потроха, попробуете. С чесночком.

Народ расслабляется, поняв, что любимчик Мотя оказался не так уж дорог Алевтине, видевший в обыкновенной свинье человеческие черты. Каждый день — новая история о Моте. Теперь будет холодцом.

Федорова умиляется сцене всеобщего единения. Хор, пусть и речевой, всегда казался ей наиболее совершенным из всех коллективов. Здесь каждый, кто выбивается из голоса, вынужден уйти. Брак виден сразу и безжалостно ликвидируется. В жизни все сложнее: нелегко обнаружить урода, имея даже хороший слух и чувство гармонии. Сама Федорова предпочитает держаться в стороне от любого, пусть самого идеального сообщества, чтобы ничто не мешало привычному ходу мыслей. Вот и сейчас рассказ о кончине Моти напоминает ей о недавно просмотренном (уже в который раз!) фильме Филиппа Кауфмана «Невыносимая легкость бытия».

Маленькая, хрупкая, темноглазая, она сидит в залоснившемся казенном кресле, прекрасно видит себя, обособленную, со стороны и думает, что такое в принципе «свинья» и «быть свиньей». Это ведь как посмотреть. У Кауфмана да и у самого Милана Кундеры, написавшего «Невыносимую легкость бытия», свинья Мефисто, принадлежавшая председателю кооператива, а также улыбчивый пес Каренин — это милые и искренне любимые существа. И писатель, и режиссер, и завуч Алевтина, и герои романа готовы идеализировать животных и привязываться к ним даже больше, чем к

людям. Мы любим домашних питомцев, писал Кундера, бескорыстно, не требуя от них ответа, и счастливы от такой любви. Мы не ищем взаимности, не ревнуем, не мешаем им жить. У Федоровой нет домашних животных. Не было никогда. Тем более она бы не додумалась завести свинью, выдрессировать ее, как кундеровский председатель кооператива, угощать ее пивом и после долгой дружбы и почти совместного существования пустить на холодец, как Алевтина. И то, и другое кажется ей крайностью. Эти люди способны на то, что не дается ей. Странно, но она тихо и незаметно для себя завидует таким житейским мелочам, которые добавляют обаяния и тепла в размеренную, никуда не спешащую жизнь. В судьбе Федоровой нет места мелочам — ни суете, ни заботе, ни привычкам. Остается только одно успокоение, только одна зацепка за вещность и осязаемость окружающего ее мира — замужество и нелегкие отношения с Сергеем. Их неуютные квартиры в селе и в городе, его работа на Севере, ее мотания в сельскую школу, диссертация — все это реальная жизнь. Хотя, нет: именно с диссертации начинается то, что в последние годы пугает все больше и ее, и Сергея... Тяга к нематериальности жизни, попытка быть счастливым в окружении теней, которые мелькают на стене, когда за спиной шумит и движется что-то большое и чужое, откидывающее эти самые тени, — сколько глупой романтики! В юности Федоровой нравилось сидение в платоновской пещере. Так по инерции продолжалось и после замужества.

Но Сергей боялся теней, раздражался от листьев, которые они раскидали вокруг себя во время долгих вечерних бесед. Иногда он набирался смелости и тормошил жену: то знакомил с друзьями, то вывозил на море, то заставил взять путевку в центральный Китай, то устраивал ремонт в квартире. Принес котенка, который потом потерялся. Теперь все настойчивее просит сына.

...Федорова выходит из учительской и семенит к расписанию занятий — узнать, в каком кабинете ее урок. Она думает о свиньях, как о чем-то теплом, но недоступном ей. Никогда в ее жизни не будет такой бескорыстной любви! И ведь никакого упрека. Мотина смерть нисколько не ужасна и не оставляет после себя чувство вины. В ней есть что-то светлое, как в последней улыбке Каренина, ляжку которого съел тяжкий недуг. Жаль собаку и Мотю, но в случае с Сергеем все не так. Да, с людьми по-другому.

Боже, о чем это она! Так цинично делать подобные сравнения! Любовь к человеку... Екатерина Матвеевна сглотнула и, вздохнув, набрала в легкие побольше воздуха, чувствуя, как где-то там ворочается камень.

А что все же значит «быть свиньей»? Интересное явление: апельсины и свиньи — это как верх и низ, как «А» и «Я», как земля и небо.

4

Книга в руках Федоровой похожа на ребенка, которого мать подносит к груди. Она аккуратно переворачивает страницу, осторожно и не спеша, будто пеленает новорожденного сына. Книга в руках Екатерины Матвеевны укладывается так уютно и значимо, что посторонний, наблюдающий за ней в моменты чтения, незаметно для себя проникается если не симпатией, то любопытством — к книге, к ее обладательнице, особенно к маленьким рукам Федоровой, нежным и умелым, в пальцах которых хотя и нет силы и хватки, но есть почти осязаемое чутье к каждому слову и предложению. И все еще похожая на продрогшего воробья «англичанка» уже не видится нелепой, чересчур отвлеченной, рассеянной птичкой: она в привычной стихии, где даже маленькая птаха — и та летает высоко и видит много, много...

Некоторые из детей до сих пор не сомневаются, что эта учительница знает все, что написано за века существования письменности. И когда однажды в минутном раздражении она сказала им «вместо того чтобы сидеть с вами, я могла бы почитать хорошую книгу», кое-кто был удивлен и разочарован: и в ее образовании есть пробелы!

Но со временем Федорова вырисовывалась в воображении своих учеников человечнее и проще, становилась ближе и понятнее, вызывала больше симпатии.

Одна из девятиклассниц не без зависти, наблюдала однажды через приотворенную дверь учительской, как Екатерина Матвеевна декламировала Пушкина девочке из одиннадцатого класса. В одной руке *англичанка* держала томик, а другой рисовала в воздухе ритм пятистопного ямба. Она улыбалась, как человек, который не работает, а отдыхает, и девочка слушала ее по-взрослому расслабленно. В этой сцене девятикласснице виделось желанное будущее: однажды и она заслужит, чтобы *англичанка* читала ей Пушкина...

Федорова ищет глазами Лапушкину. Четвертая парта у окна. Откуда взялось солнце? Пробилось сквозь плотную серую завесу неба и высветило, как на цветной пленке, лица учеников. Вот и нет Лапушкиной, нет Мальцевой, нет Кувшинникова и Михайлова. Полупустой проявленный негатив. В глазах цветные круги. Щурясь, Федорова вглядывается в силуэты за четвертой партой. Ее тревожит предчувствие.

— Лапушкина, чем вы заняты?

— Ничем.

Слышится хихиканье.

— Где ваши книги? — Федорова подходит к четвертой парте и видит что-то цветное, нарисованное, бликующее на солнце. Наверное, карикатуры. Да, конечно, на нее уже рисуют карикатуры.

— Что это?

— Ничего.

Екатерина Матвеевна медленно берет с парты листы.

— Комиксы?

В светло-голубых глазах Лапушкиной, как и тогда, в коридоре, абсолютно нет подвоха. Всего лишь комиксы.

К одиннадцати утра она освободилась от занятий и сидит одна в кабинете литературы. От яркого солнца зарумянились щеки. В окне классного кабинета солнце похоже на кусочек подтаявшего сливочного масла в манном месиве толстого целлофана, которым для удержания тепла в школах до сих пор закрывают рамы. Чем дольше Федорова млеет за учительским столом, тем дальше уводят ее ассоциации. На самом деле солнце не круглое, а квадратное, нет, прямоугольное, как на картине Пауля Клее, где тонкая линия горизонта делит пополам утреннее небо и еще спящее море. Море цвета охры и сепии, и, конечно, лимонного кадмия, абсолютно сумасшедшего и чистого. Федорова родилась возле Черного моря, под Краснодаром. Там же прошли ее детство и юность. А потом по распределению она попала на Дальний Восток. В Краснодаре она успела понять море. Это случилось после знакомства с Сергеем — она училась на пятом курсе, а он работал водителем.

Позже он писал ей из командировки: «Раньше в карманах моих брюк всегда можно было обнаружить немало мусора. Особенно шелухи от семечек. Она забивалась под ногти, когда я пытался найти мелочь. Мне казалось, Катя, что ходить по улице с руками, чуть ли не по локти засунутыми в карманы, с сухим животом, втянутым до позвоночника, в пузырящейся рубашке — признак свободы в манерах. Однако я был воспитан совершенно по-другому и помнил, что ходить надо с прямой спиной, развернутыми плечами и при этом не держать руки в карманах. И тем более не класть туда всякую ерунду вроде семечек. И не плевать ими в прохожих. Так что юность, Катюша, у меня была трудная... А потом я случайно подвез тебя до института. Ты вышла из машины и топталась на крыльце в своем черном плаще. Помню, как опиралась на длинный зонт и брезгливо чистила о ступени запачканные сапожки. Вот так пропала моя юность да и вся жизнь».

Потом после выпускных экзаменов они поехали к морю. Море дышало морской капустой и как будто «Шипром». Оно притаилось и подглядывало за ними, словно хитрый и умный соучастник.

Ранним утром, когда вода была желтой, а солнце прямоугольным после сна, она вошла в воду и поплыла легко: не нужны были силы, долгие взмахи руками. Вперед, вперед! Горизонта нет, и берега тоже. И ничего не страшно. Плыть бы так вечно, к другому берегу.

Вот тогда Катя и поняла его. С морем все как с мужчиной. Сначала робко и ласково трется оно о твои ладони, целует их, осыпая пальцы горячими крупицами песка, а потом обнимает смело и раскованно, увлекая вперед, к чистому горизонту. И если оглянуться, то можно понять, что края этой стихии нет, как нет вечного счастья, вечной любви. Море остается победителем. И пусть.

— Екатерин Матвевна! Простите Бога ради! Бухой был, как черт! Беспонтово вышло... С пацанами пивка глотнули. И все! — Иванников стоит перед ней, сухо потягивая носом. За дверью ждут остальные участники той глупой истории у магазина. Лицо у Иванникова такое, что его трудно запомнить: примерно как карандашный набросок ребенка, знающего только кружочки, точки и палочки. И все это — на белом альбомном листе. Слабый список с офени.

— Иванников, я действительно *позорная* учительница? — Она внимательно смотрит на него, как будто надеясь, что он скажет «да».

— Нет, я же говорю, простите...

— И все-таки ты сказал это.

Она помолчала. Воспитывать она не умеет.

— Свой моральный ущерб я хотела бы возместить. Принеси мне килограмм, нет, три килограмма сладких померанцев.

— Не понял... Чего принести?

— Я в ваших холодных краях соскучилась по сладким померанцам, Иванников. Принеси, пожалуйста, через час. Иначе... Как твою маму зовут?

— Ну, ладно. Понял.

— Иванников стал похож на мученика.

— Ожидайте.

На исходе часа в кабинет шумно вваливаются Иванников и вся его компания.

— Екатерин Матвеевна, я над вашим заданием чуть башку не сломал. Держите-ка. — Иванников поставил на стол пакет. — Только в магазе апельсинов нету. Пришлось у дружка в холодильнике пошарить. Извиняйте! Тут если килограммчик найдется... Чуть башка не лопнула от перенапряга. Ладно в школе увидел училку по информатике. Она мне класс с компьютерами открыла и даже сама в Интернет залезла. «Толковый словарь» какой-то нашла... Ну, еще раз простите нас. Обидеть не хотели, так, по пьяни брякнул...

В мутном окне силуэт Иванникова, согнутый от холода и ветра, вдруг дрогнул и чуть не распластался по льду. Остальные приятели покатили на него, семеня, словно босые, но тоже удержались на ногах. Иванников сплюнул, довольный собой, и побежал дальше. Навстречу ему другие мальчишки: «Откуда, пацаны?» — «Да к училке ходил! Англичанке!» — «А! к той, беспонтовой?» — «Ну да!» — «Вот телка позорная!» К счастью, Федорова не слышит этих слов.

Вот, думает она, сейчас, когда Иванников удержался на льду, он был похож на Иакова, который всеми силами старается повалить Ангела, пыжится, нехорошие офенские слова говорит, а тот молчит и только беспокоится, чтобы Иванников, то есть Иаков, не споткнулся бы и не расшиб себе лоб. Бережно держит его Ангел — одной рукой за пояс, другой под коленкой. Держит и молчит. Терпит.

Зимним вечером домики по обеим сторонам главной дороги напоминают клавиатуру старого, почти беззубого рояля, на котором исполняют один и тот же заунывный романс. Пожелтевшие клавиши ноют расстроенно, с неровным эхом, но в то же время с выражением пьяного и сонного счастья. Странная получается музыка — хуже кошачьей свадьбы с дракой и диким ором. Ах, если бы им хватило клавиш, если бы им хватило дыхания! Поселок редеет. Беззубая улица дошамкивает свою скучную музыкальную партию.

Федорова отошла от окна. Подушка в раме покрылась льдом и нужно что-то делать, искать стеклину, звать какого-то человека, но зачем? К вечеру, когда слова завуча были разложены едва ли не на фонемы, Федоровой овладело чувство досады. Никто не увидит, как она расстроена, как уязвлена. Завуч ее не любит. Никто ее не любит. Федорова дошла до кухонной плиты и открыла крышку сковородки. Пахнуло застывшей яичницей. В желудок медленно опустился комок тошноты и занял все пустующее пространство — то место, где жила надежда, предвкушение торжества, победы над невежеством. Иванникова любит мать. Одной рукой она держит сына за поясницу, другой за коленку. А ей, Федоровой, никто не нужен. Ни чужой смех, ни чужое горе.

Она дошла до трюмо, до единственного в квартире зеркала. Посмотрела себе в глаза и вспомнила, что сегодня уже несколько раз ходила к зеркалу и мельком смотрела в него... Нарциссизм? Женская привычка? Наверное, одиночество. Потребность видеть чье-то лицо, вести хотя бы мысленный диалог с воображаемым собеседником, внимательным и податливым, как редко бывает в жизни.

Закипел чайник.

«Знаешь, Сергей, — начинает Федорова не спеша, — моя завуч из тех женщин, про которых говорят: лукавой бабы и в ступе не утолчешь. Обхитрит, оставит с носом — а ты благодарить ее будешь. Говорит просто, сердечно даже, как будто жалеет. На самом деле — людей словно линейкой мерит. В ее прокрустовом ложе можно и без ног остаться. Впрочем, до этого не дойдет: к концу года меня уволят. Я хотела про Мотю... Немного гротескный и в то же время обыденный, как у Гоголя человек — утробистый, всегда в синем кафтане, пуговицы на круглом брюхе рвутся. Красный, как медь, галстух шею давит, но приличия ради все терпит и только хрюкает в сторону, сдержанно, с авторитетом. На людях — господин, дома — свинья свиньей. Жил он с чувственной и толстой, как бочка сорокаведерная, барыней. Ее любовь к Моте была безмерна. Оба они валялись в грязи целыми днями, воркуя, то есть хрюкая о том, о сем. По воскресеньям их зазывали в гости: *за белы руки принимали, за столы белодубовы сажали!* В жизни их было еще одно удовольствие, — думаю, не единственное, — о котором я и хотела сказать два слова. Мотя любил, когда кто-нибудь из хозяев чесал ему загривок. Мотя млел: закатывал глазки, постанывал и постепенно заваливался набок от экстаза. Валился прямо в лужу, не жалея кафтана. А подруга его при виде восторгов милого брюхана плюхалась следом, смешно дергая ножками... Судьба его печальна. Мне кажется, не было в Моте предчувствия фатального исхода, который есть у других домашних животных, откормленных к зиме. И вот он, бедняга, уже не на своем пиру. Жаль его.

Сейчас будем чай пить. Я налью тебе горячего».

Федорова наливает две чашки чая и накладывает сахар, потом помешивает его по общей с мужем привычке: сначала по часовой, потом против часовой стрелки. Опомнилась, когда придвинула к себе одну из кружек. Вторую предложить было некому.

С Сергеем иначе нельзя. Даже когда его нет, нужно вести себя так, словно никуда он не уезжал. Думать надо на двоих, привычно сверяя его вероятные соображения со своими впечатлениями. При этом, как и в реальности, обычно выходила разладица: Сергей в воображении Федоровой всегда спорил. Прямота и в жизни выходила ему боком, а тут, без его участия, получалось еще хуже. Нередко бывало, что вернувшегося из

командировки мужа ждала сердитая жена: Екатерина Матвеевна мысленно поругалась с ним, даже поплакала тихонечко и, обиженная, намеревалась продолжить разговор. Она понимала, что это смешно, но... Что тут поделаешь?

Лучший способ мысленного единения на расстоянии — это книги. Сам по себе акт передачи любимого чтения другому человеку наполнен глубоким смыслом. В дружбе и в любви ищешь всегда схожести, того, что роднит души. Книга тому способствует. Важное, значимое слово, вложенное в уста и мысли близкого человека, волнует и будоражит воображение. Когда Федоровы только начинали встречаться, они увлекались письмами Пушкина, особенно теми, которые он писал Наталье Гончаровой до их свадьбы, в дни холеры, или после, из поездок по местам, где «гулял» Пугачев. Екатерина прочитала их гораздо раньше. То, что переживал Сергей тогда, стало известно ей только спустя несколько лет. Когда томик попал к Сергею, он первым делом — как-то неожиданно для себя жадно — пробежал глазами то, что было подчеркнуто карандашом, в том числе и эти строки, переведенные с французского и написанные Пушкиным-женихом: *Итак, я в Москве, — такой печальной и скучной, когда вас там нет. У меня не хватило духу проехать по Никитской <...>. Вы не можете себе представить, какую тоску вызывает во мне ваше отсутствие. Я раскаиваюсь в том, что покинул Завод — все мои страхи возобновляются, еще более сильные и мрачные. Мне хотелось бы надеяться, что это письмо уже не застанет вас в Заводе. — Я отсчитываю минуты, которые отделяют меня от вас.*

Федоров и до этого мучился чувством вины, а тут и совсем упал духом. С трудом перечел эти строки еще раз, сравнивая то, что не давало покоя поэту, со своими волнениями. Его невеста только уехала в Москву — там ее ждали семейные дела. Он тем временем должен был собрать вещи и отправиться из Краснодара на юг Дальнего Востока, в один из маленьких городков Хабаровского края, куда по распределению университет направил одну из лучших своих выпускниц. Но до сих пор он сидел дома, точнее, на даче у родителей, смотрел на море, которое к осени стало ласковым и сентиментальным, как старый кот. Сидел на горячих камнях, отбрасывая на песок долговязую тень, курил и думал, почему не может собраться и уехать в этот чертов Бикин, где, как ему представлялось, всегда холодно, дуют ветры со всех сторон, а в классах школы, где будет целых три года работать его будущая жена, пахнет коровами и щами из квашеной капусты.

Вы не можете себе представить, какую тоску вызывает во мне ваше отсутствие... Все-таки она скучала по нему, хотя этого не было заметно, когда он провожал Катю в столицу. Она садилась в вагон поезда, говоря «до свидания» так, как будто вечером они увидятся, и он повезет ее к морю. И — ни слова про Бикин. Вроде все решено, и в то же время нет уверенности, что он в праве хозяина, что отныне и он участвует в ее жизни, вклинивается в нее смело, как не могут входить гости в чужой дом, а только свои, родные. Чужой или нет? *Я отсчитываю минуты, которые отделяют меня от вас...* Подчеркнула бы два раза, и он кинулся бы покупать билет на самолет... Доброе, ласковое слово лучше мягкого пирога, как говорила его бабка. Ему всегда не хватало хороших слов от Кати. Но есть наиболее важные, на которые он имеет право, если теперь меняет жизнь.

А может, она так уверена в нем, что даже и предположить не может, что он, такой серьезный всегда, сидит теперь и греется на вечернем солнце и сомневается, как девушка... Сейчас, наверное, Катя гуляет по Москве и представляет, что он, навсегда покинув родной Краснодар, летит на восток, а под креслом в облаках мерцает Байкал — бегущая ящерка, догоняющая многоногого амурского дракона... На карте все так красиво! А как на самом деле?

Он, как скромный гость, долго топтался у порога ее жизни, извиняясь и тщательно вытирая ноги, пока, наконец, не решился сделать шаг вперед...

Когда Катя прилетела в Хабаровск, Сергей встречал ее с цветами, улыбался, и по его лицу, слегка испачканному краской, нельзя было сказать, что он боится чего-то. Сергей освоился, как домовладелец, первым вступив в их будущую семейную жизнь. Сделал в квартире ремонт (жилье благодаря директору школы выделили местные власти), и, увлекшись, вчера покрасил пол... Всю ночь молодые гуляли возле школы по сырой траве, слушали прощальную музыку поездов и рельсов, потом при тусклом свете круглых, местами побитых шаров-фонарей бродили по военному городку, свободно минуя контрольно-пропускной пункт, отмахивались от злющих комаров и к утру радовались, как уютно и душно пахнет в коридоре высохшей краской.

...Невозможно вспомнить все слова, нельзя собрать каждый опавший листок с их многоречивых деревьев. Не хватит памяти. Екатерина Матвеевна допивает чай и, согревшись, смакует предстоящий, еще только начинающийся для нее вечер. Вот«Толковый словарь Даля». И в самом деле, именно Даль называет апельсин *сладким померанцем*. Померанец — дерево вечнозеленое, плодовое, из Южной Азии, то же, что *горький апельсин*. У Даля получился оксюморон: сладкий горький апельсин. Зато как точно! Федорова удобнее устраивается на стуле с томиком в руках. Сейчас она снова напоминает мать, держащую на руках ребенка. Впрочем, Даль ей уже не нужен. Она кладет его на полку трюмо, где уже высится пыльная стопка книг, каждая из которых — день или два дня жизни. И если разобрать книги, томик за томиком, то можно вспомнить чувства и мысли каждого дня, когда пальцы Федоровой разглаживали страницы того или иного романа, словаря, чьих-то стихов.

Происхождение этого красивого слова, померанец, хорошо известно: оранжевое яблоко (соединение итальянского и персидского слов). Не менее известно происхождение слова «апельсин» — китайское яблоко.

Она вспоминает случай в Шанхае. Федорова толкнула тележку с апельсинами, когда увидела Моби Дика и черепаху Ао. Они возникли перед ней, словно тайные заговорщики, решившие вдруг обнаружить себя. Федорова удивилась им и в то же время подумала, что иначе и не могло быть — есть вещи, живые существа и люди в том числе, внезапное появление которых в нашей жизни осознается как естественное, как данность — о ней мы знаем, но забыли, а теперь вспомнили. Она увидела Моби Дика и Ао и стала потом томиться по ним, вспоминать их, дремлющих в аквариумах, удерживающих в себе что-то принадлежащее ей. Так же отчасти связана она с непохожей на нее Нюй-вой и ее верным Фу-си. Тоска по ним иногда давала о себе знать. Почему-то теперь они видятся тягучими, кривыми и гулкими, как эхо. И чем больше проходит времени, тем труднее удерживать в памяти это впечатление знакомства с частью собственного «я», спящим в толще морской воды. Воды цвета кисти Клее. Труднее еще и потому, что, переключившись на апельсины, она поймала вторую нить, идти за которой надо совсем по другому пути своего сознания.

В ее кармане оказался один апельсин, большой, гладкий, ярко-оранжевый. Всего один.

Иные переживания по этому же поводу описывает в романе «Король, дама, валет» Владимир Набоков. Драйер любил свою жену Марту, но боялся говорить ей об этом. Исподтишка он следил за каждым ее жестом, любуясь особенно ее улыбкой, такой редкой для него. Уж тем более с каждым годом все более скупы были ее ласки. *...Когда улыбка исчезла, он отвернулся, подобно удовлетворенному зеваке, после того, как уличный торговец поднял и снова положил на возок нечаянно рассыпавшиеся апельсины.* Улыбка Марты похожа на груду спелых оранжевых плодов. В ней — редкое на стуже солнце. Весь жар достался юному Францу, племяннику Драйера, любовнику его жены. С ней он чуть не сгорел, устав выискивать способы умерщвления ничего не подозревающего супруга. Еще ребенком Франц купил однажды *огромный помплимус*, *похожий на желтый череп*. Для него это непозволительное расточительство, как билет в первый класс скорого

поезда. Автор примечаний к роману Олег Дарк пишет, что помплимус, или помпельмус, это вид цитрусовых, его сферические или грушевидные плоды бывают разной окраски — от лимонной до оранжево-красной. Вкус помплимуса горьковат, как у грейпфрута. У Набокова он символизирует темы поэзии, смерти, познания. Есть у него стихотворение «Помплимусу» — в нем именно этого плода *жаждет муза*. Таким образом, для Набокова апельсин, или помплимус, — это удовольствие, получаемое от визуального наблюдения за кем-то любимым, томление по невозможному, но как будто близкому. И еще это символ точного поэтического слова, которое необходимо найти.

Чем больше она думает об апельсинах, тем сильнее в ней разрастается предчувствие того, что ожидает их дальше. Логика подсказывала это, как будто перед ней не жизнь, а книга, написанная в определенном жанре, с соблюдением всех литературных канонов.

Когда Сергей в последний раз уезжал, она хотела дать ему роман Генри Миллера «Биг-Сур и апельсины Иеронима Босха». Она считала, что это шаг к примирению с ней, с Миллером, со всеми литературными снобами, оставшимися дома, где книжные полки были чуть ли не основной мебелью. Сколько в каждой книге закладок, сколько подчеркнутого, словно взятого из их жизни! «Биг-Сур» — роман зрелый, философский. Но книга осталась дома, и все, что хотела Федорова сказать мужу, — тоже. Она полна непроговоренным, а это очень тяжело. С каждым часом на нее все больше давит что-то, и она ходит смотреться в зеркало, к отраженному собеседнику, одинокому и печальному.

В чем суть апельсинов Босха по Миллеру? Художник написал их в триптихе «Сад земных наслаждений». ...Почему кажется, что в этих апельсинах, таких сверхъестественно реальных, *есть нечто такое, чего нет в апельсинах на картинах других художников, например, Сезанна <...> или даже Ван-Гога?»* — удивляется Миллер. Он утверждает, что апельсины Босха — олицетворение чистого духа, того самого духа, который был потерян человеком, когда он ушел из Эдема. В цветке, растущем из апельсина, изображены мужчина и женщина, еще не знающие первородного греха. Миллер пишет, что Босх *видел чувственный мир насквозь, делал его явным и таким образом открывал его первоначальный облик.* Благодаря образам Босха нам снова доступна красота и гармония, рай в душе. *А у души несчетно очей. И лишь очам души может быть явлен рай.*

Федорова знала свою способность к такому видению. У души несчетно очей. Поэтому для нее и Сергея, несмотря на многие сомнения, не важно, по какую сторону от них бежит ящерица Байкала, и почти все равно, где упадет листок с кроны их деревьев.

Раскройте больше очей и вы увидите рай.

Что же им мешает быть счастливыми? И в каком жанре написаны их жизни? На один и тот же мир они смотрят разными глазами. У каждого за спиной мелькают тени, и у Сергея их не меньше, чем у его жены. В их мирах под гнетом толщи воды, где спят рыбы, таятся еще нерожденные слова, ненаписанные книги.

Федорова убирает томики на трюмо. Настает тот самый момент удовольствия, когда должна дрогнуть тележка с апельсинами, и с нее, после долгого томления и ожидания, посыпятся слова. Кульминация.

Вот снова вечер.

Дерзость офеней, коленка Иакова.

Наполеон, зеленая шаль. Глаза девочки. Лапа Каренина.

Море Клее.

Сладкий померанец.

Завуч, о которой нечего сказать.

Снова вечер. Беззубые рояли. Мотя в тугом галстухе. Тусклые шары в Бикине. Пушкин тоскует по Гончаровой. Две чашки чая. Зеркало. Апельсины Набокова, Миллера и Босха.

Тележка качается. В трубке телефона пока еще гулко.